

Страдания — проклятие нашего поколения, но страдания и благо. Мне дороги мои страдания. Молодому поколению не хватает страданий. Страдание делает человека человеком.

Фёдор Абрамов
19 мая 1977 года

29 февраля 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения одного из главных представителей так называемой “деревенской прозы” Фёдора Александровича Абрамова. В связи с этим юбилеем публикуем главу из “Жития Фёдора Абрамова”, написанного нашим постоянным, увы, уже покойным, автором Николаем Михайловичем Коняевым.

Последнее десятилетие жизни Фёдора Абрамова пришлось на годы, которые принято называть эпохой застоя, хотя определение это служит скорее для оправдания перестроечной катастрофы, нежели для описания тех сложных процессов, которые происходили в советском обществе во второй половине семидесятых и начале восьмидесятых годов.

Конечно, публичная демонстрация Леонида Ильича Брежнева, с каждым годом всё глубже впадающего в маразм, окончательное омертвление марксистско-ленинской идеологии, крупные внешнеполитические просчёты и системные ошибки государственного планирования создавали серьёзные проблемы, но вместе с тем нельзя не отметить, что и за “точкой невозврата”, которую тогда, видимо, уже прошёл Советский Союз, происходили положительные изменения, делались реальные шаги, чтобы вывести страну из кризиса или хотя бы отодвинуть крах.

К заслугам брежневского правления следует, прежде всего, отнести общее повышение уровня жизни. Кажется, впервые в семидесятые годы не отдельные профессиональные группы, не люди определённой национальности, а всё население СССР без исключения получило возможность относительно безбедного существования. Любой человек мог получить работу, гарантирующую, что он не будет голодать, любой человек мог получить крышу над головой.

Правление Брежнева стало, пожалуй, единственным периодом в жизни Советского государства, когда реформы в нашей стране на короткое время перестали осуществляться исключительно за счёт народа.

Существенно и происходившее в эти годы исправление чудовищных национально-экономических перекосов в устройстве нашей страны. Впервые были сделаны реальные шаги на пути возрождения ограбленной деревенской России. Программа возрождения Нечерноземья, при всех её недостатках и минусах, впервые переориентировала часть денежных потоков, высасываемых из России, на саму Российскую Федерацию.

Очень важно и то, что в семидесятые годы появился реальный результат начавшихся ещё в послевоенные годы образовательных реформ. Впервые после революции Россия оказалась обеспечена своей национальной интеллигенцией. Можно говорить, что интеллигенция эта качественно уступала дореволюционной, но очевидно, что ещё никогда в истории России не была интеллигенция так близка к народу.

“Невысоким, задумчивым и усталым немолодым человеком с маленькими изящными белыми руками, давно отвыкшими он крестьянской работы, с мягким взглядом карих глаз, всё словно прислушивающимся к чему-то, что доносится до него одного и не слышно окружающим” запомнил Фёдора Абрамова в начале семидесятых московский писатель Андрей Леонидович Никитин.

В эти годы Фёдор Абрамов приобретает воистину всенародную известность. Книги его издаются огромными тиражами и вызывают живой отклик у читателей. Почти все они переводятся на различные иностранные языки, многие — это и в театре Ленинского комсомола в Ленинграде, и в Республиканском русском театре драмы им. Лермонтова в Алма-Ате, и в Московском театре драмы и комедии на Таганке, и в Русском драматическом театре им. Крупской в городе Фрунзе, и в Архангельском театре драмы и т. д., и т. д. — обретают сценическую судьбу.

Фёдор Абрамов много ездит по миру — Франция, Финляндия, Швеция, Дания, Румыния, Япония, Англия, ФРГ...

Поразительно, но шумный литературный и театральный успех семидесятых, кажется, совершенно не вскружил голову Абрамову.

“Он стоял у дверей, невысокий, сухощавый, в распахнутой куртке, шало, небрежно распахнутой и как бы сползавшей с плеч, — вспоминает Василий Петрович Цеханович, работавший тогда в отделе прозы журнала “Нева”. — Надо лбом разлохматилась тёмная, мягко вздыбленная шевелюра. К переносице круто спускалась завихряющаяся прядь. Было в нём что-то задорное, ребячье. Как будто он только что спустился на санках с горы”...

Это очень точный портрет Фёдора Абрамова.

Так, будто **он только что спустился на санках с горы**, и ощущал себя Фёдор Абрамов в первой половине семидесятых в минуты, когда, разумеется, ничто не раздражало его, когда он не был поглощён литературной работой.

Судя по записям “Дневника”, Фёдор Абрамов остаётся прежним, таким же, каким был в пятидесятые и шестидесятые годы, по-прежнему он занят своими книгами и тем, что происходит со страной, а личная жизнь остаётся на втором плане...

“У Абрамова всегда было немало поклонниц и лёгких увлечений с его стороны, — вспоминает Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова. — Но в 1970 году он встретил в Москве женщину, к которой испытал повышенное влечение: если не любовь, то головокружительную страсть. Он буквально потерял способность управлять своими чувствами.

Зная мой твёрдый и решительный характер, прямоту и нежелание идти на компромиссы, он был уверен, что я укажу ему на дверь, как когда-то в подобной ситуации поступила Л. Целиковская с Ю. Любимовым. Но я тогда не могла поступить столь решительно и прямолинейно. Фёдор заканчивал роман “Пути-перепутья” и задумывал “Дом”. Мне всегда были очень близки его творческие дела. Я была, как он сам не раз признавался, его лучшим советчиком и критиком. И вдруг — разрыв! А что будет с его творчеством, с его многочисленными замыслами?”

Мы приводим эти воспоминания Людмилы Владимировны Крутиковой-Абрамовой для того, чтобы показать, что и эти искушения не миновали Фёдора Абрамова, хотя, конечно, если судить по “Дневнику”, **способности управлять своими чувствами** Абрамов не терял и в самую горячую пору романтического увлечения В.

“Нет, нет, не для меня, видно, все эти любовные романы на стороне, — записывает он 14 марта 1972 года. — Я для этого слишком глуп, у меня для этого слишком много совести... И главное — это мешает работе”.

Едва ли Людмила Владимировна читала тогда дневниковые откровения мужа, но она очень хорошо знала Абрамова и действовала в весьма щекотливой ситуации так, как будто исполняла его негласную инструкцию.

“Я стала узнавать, что собой представляет увлёкшая его женщина. Может ли она оберегать его писательскую судьбу? Если бы она была достойна его таланта, его подвижнического труда, у меня хватило бы мужества и сил расстаться с ним. Но погубить его талант я не могла и предоставила Фёдору самому сделать выбор. Он был удивлён и, ничуть не смущаясь, заявил: “Кто из вас двоих выдержит, тот и победит. Я ничего не могу решить, я не хочу расстаться с тобой, но и не обещаю прервать общение с В.”.

Однажды я не выдержала и сказала: “Ты здесь напишешь “Дом”, а затем — уходи на все четыре стороны”.

Я даже встречалась с этой женщиной в Москве, просила оставить его, ибо он сам от меня не уйдёт. Я предполагала, что она ищет обеспеченного мужа (моя “разведка” подтверждала, что Абрамов далеко не первый её избранник за последние годы). Я хорошо понимала, что Фёдор не всегда правдив с ней. И решила доказать правду “документально”.

Хотя мы прожили с Фёдором больше двадцати лет, но юридически брак у нас не был оформлен, что могло вводить некоторых особ в заблуждение. И вот, чтобы прояснить и закрепить прожитую нами жизнь, я попросила Фёдора оформить брак. 13 марта 1973 года наши супружеские отношения были законно зарегистрированы, была поставлена печать в паспорте. Но окончательная “капитуляция”, как выразился сам Фёдор, произошла лишь через год”.

Любовное увлечение Фёдора Абрамова, закончившееся официальной регистрацией с собственной женой, можно назвать адольтером по-абрамовски, но иначе и не могло произойти с ним... Развлечения и удовольствия Фёдора Абрамова всегда были достаточно простыми. Он был страстным спортивным болельщиком... Чрезвычайно любил прогулки по паркам, по берегу залива, по Неве... Зимой, когда жил в Доме творчества, катался на лыжах, играл на бильярде... Иногда, не очень часто и не очень много, выпивал. Вот, кажется, и всё...

А по-настоящему занимали его совсем другие проблемы...

“Вот я и вышел в первые писатели Ленинграда, — записывает Фёдор Абрамов 28 ноября 1974 года. — В отчётном докладе партбюро на первом месте я, секретарь РК Новожилова выступала — меня назвала (да ещё с кем рядом? — с Толстым и с Достоевским!)...

И Сережа Воронин, и Гранин уже косо посматривают на меня.

Ерунда! Всё ерунда! Надо работать. И надо, в конце концов, плюнуть на В., тем более что она становится слишком практичной (“Мне надоели слова. Я жду дела”).

Да, работать”.

И не только любовными увлечениями жертвовал Фёдор Александрович ради работы...

2

К середине семидесятых Фёдор Абрамов незаметно для самого себя превратился ещё и в видную фигуру в общественной жизни Ленинграда.

Разумеется, многое тут определялось талантом писателя, его стремлением говорить об общественно-значимых проблемах, но несомненную роль в этом успехе сыграла и поддержка, осуществляемая на достаточно высоком уровне политического руководства страны.

Все семидесятые годы вплоть до 1983-го, когда в ранге члена Политбюро и секретаря ЦК КПСС его перевели в Москву, Ленинградский обком КПСС возглавлял Григорий Васильевич Романов, талантливый организатор. С его именем в Ленинградской области связано создание крупных специализированных объединений по производству овощей, молока, мяса. При Романове в области появились оборудованные по последнему слову техники и успешно работающие и по сей день птицефабрики. Ну, а заслуги Романова в развитии ленинградской промышленности, науки, образования и жилищного строительства столь огромны, что их не пытались поставить под сомнение даже в конце восьмидесятых, когда ниспровергалось всё, что было связано с КПСС².

При этом считается, что, будучи “технарём” и отдавая все свои силы непосредственной хозяйственной работе, идеологией и всем связанным с нею Григорий Васильевич занимался мало и неохотно.

Дневники Фёдора Абрамова не то, чтобы опровергают это расхожее мнение, но вносят в него существенные коррективы.

Сближение или, вернее сказать, попытка сближения Григория Васильевича Романова с Фёдором Александровичем Абрамовым была предпринята в середине семидесятых, когда решался вопрос о новом председателе Ленинградской писательской организации.

Читая дневники Фёдора Абрамова за эти месяцы, мы видим, как много сил прилагает обком партии в целом и Григорий Васильевич Романов, в частности, чтобы нормализовать обстановку в Ленинградской писательской организации. Видим мы и то, как постепенно это открывалось самому Фёдору Абрамову...

“18 марта 1975 года. Хотел попасть на приём к Андрееву — отказали. Не нужен. За мной никто не стоит. А Гранина принял бы немедленно. Потому что за ним — ленинградская синагога”.

“24 апреля 1975 года. С утра за столом. Новые идеи по роману. А с четырёх часов — встреча с Б. Андреевым, секретарём обкома...”

Великое открытие! Ленинградом правят боссы от творческой интеллигенции. Товстоногов, Дудин, Мильников, Аникушин, Петров — человек 15. Они — опора и руки третьего секретаря. Он выполняет их волю. А если заупрямится? Скомпрометируют в низах, да и наверх шепнут. Андреев бывал хоть раз на приёме у Генерального? Вряд ли... А ведь Аникушин публично целуется с Генеральным. По телевидению на всю страну показывали. Сообщай, если хочешь удержаться на плаву”.

“6 октября 1975 года. В целом день был преискусудный. Вызвали в обком к Пантелеймонову, к Николаеву и вот четыре часа переливания из пустого в порожнее. Не понимаю, чего я с ними разговариваю. Что у меня с ними общего? Хотят “русской” линии в писательской организации, но разве это возможно, когда писательская организация на 60% нерусская? Да и что такое эта “русская” линия? Всем ли нам, русским, нужна одинаковая Россия? Идиоты! Хлеб покупаем в Америке, которой заправляют евреи, и захотели “русской” линии в культуре.

Мусолили будущих кандидатов в первые секретари: Воронина, Чепурова”.

“22 октября 1975 года. Воронин, Хватов, Козлов³ завалены. А заодно с ними и Виноградов⁴: боялись — секретарём поставят.

Для обкома это полная неожиданность, да, да! Ставка была на Воронина.

— Мы даже в президиум его не ввели, — проболтался простоватый Пантелеймонов. — Нарочно предприняли отвлекающий маневр.

И вот стали уламывать меня. Не от любви, от нужды. Четыре часа уговоров. Сперва у Николаева, потом у Андреева.

Я, конечно, наотрез отказался”.

“23 октября 1975 года. Всё сразу: секретарь СП РСФСР, секретарь СП СССР, член обкома, делегат XXV съезда, дача по вкусу и по выбору под Ленинградом. Плюс к этому всякие другие почести, издания во всех республиках, неограниченные поездки за границу, по стране.

И цена за всё это — возглавить ленинградских писемников...

Хотелось, хотелось мне получить премию (Романов сказал: будет!), но я и от премии отказался. Идиот, кретин, Иванушка-дурачок... Но должны же быть Иванушки-дурачки! Иначе что за Россия без них!”

“24 октября 1975 года. 23 часа. Премию — дали.

Только пришёл домой, порисовал немножко в дневнике — звонок из Москвы.

— Поздравляю с лауреатством! — голос Феликса Кузнецова”.

“27 октября 1975 года. В четыре часа партгруппа правления в обкоме. Мне по предложению Романова пришлось рекомендовать Чепурова.

Да, самое интересное: Романов перед праздниками хочет проехать со мной по комплексам. Так Николаев мне сказал”.

“1 декабря 1975 года. Подполье кончилось.

Что делать? Статью писать (Россия и литература) или за роман браться? Статья кричит, который уже год бунтует. И хорошо бы на эту тему пальнуть с трибуны съезда. Да к кому звать? Кто на съезде будет?..

Обман, обман это всё — не уступаем в идеологии. А “Литературку”, самую влиятельную газету, формирующую общественное мнение, отдали — это что, не уступка? А “Юность”? А кино, театры, музыка, эстрада... Лопухи мы, лопухи глупые.

Торг давно идёт. А эти выставки молодых модернистов? А Солженицын, Сахаров — не уступка это?”

“5 декабря 1975 года. В газетах указ о назначении Володарского⁵ начальником Статистического управления. Не антисемит, нет, но зачем же всё-таки отдавать всю информацию в руки еврея? Где же наша хваленая бдительность?

То евреев в вуз не пускаем, то все ключи от всех сейфов отдаём”.

Возможно, если бы Фёдор Абрамов возглавил Ленинградскую писательскую организацию, “русскую” линию в Ленинграде удалось бы усилить... Но Фёдор Абрамов уже попадал в схожие ситуации, работая в ЛГУ, и понимал, какие невероятные трудности возникнут на его пути, догадывался, сколько сил отнимет у него эта, скорее всего, обречённая на неудачу деятельность.

Не будем забывать, что в 1976 году Фёдор Абрамов переваливал через роковой для его семьи рубеж. В роду Абрамовых мужчины умирали рано — и отец, и братья не дожили до 55 лет. И, конечно же, на этом роковом рубеже Фёдор Абрамов всё чаще задумывался о сроке отпущенной ему жизни...

Как бы то ни было, но Абрамов, путая планы обкома КПСС, решительно отказывается от престижной и весьма выгодной должности. Впрочем, — в этом и заключается удивительный парадокс семидесятых годов! — отношение обкома КПСС к Фёдору Абрамова и после его отказа от руководства Ленинградской писательской организацией несколько не ухудшилось. Снова и снова приглашает Фёдора Александровича Абрамова первый секретарь Григорий Васильевич Романов поехать с ним по области и посмотреть, что происходит в селе, вопреки противодействию самого Абрамова его вводят в руководство Ленинградского горкома КПСС.

“Меня поначалу в члены горкома определили, — записывает он 10 января 1976 года. — И вот я, насмерть перепугавшись, начал всем райкомовцам и горкомовцам твердить: нельзя меня в горком, я псих неуравновешенный, с загибами, с заносами. Такое лягну, что горком в лужу посажу...”

Переполох, который я поднял, подействовал. Новожилова (1-й секретарь РК), надо полагать, доложила о моём разговоре кому надо, потому что в случае “ляпа” ведь с неё спрос в первую очередь. И вот меня рангом понизили (это она мне сказала) — сделали кандидатом.

Да, этой линии надо придерживаться и впредь”.

Несомненно, придерживаться Абрамову *этой линии* немало помогало то обстоятельство, что Григорий Васильевич Романов симпатизировал Фёдору Абрамову, и существенную роль в этом играла удивительная общность их судеб.

Как и Абрамов, Г. В. Романов родился в северной деревне⁶ в крестьянской семье, младшим, шестым ребёнком. Были они — Романов родился в 1923 году — почти ровесниками, и оба ушли на войну со студенческой скамьи. Выпускника судостроительного техникума Г. В. Романова отправили тогда под Лугу рыть траншеи. Потом, как и Абрамов, рядовой Романов защищал Ленинград, как и Абрамов, попал с ранением в блокадный госпиталь и оказался спасён только благодаря подвигу и самоотверженности своей будущей жены...

Общим у Романова и Абрамова было и понимание того, что возрождение России невозможно без возрождения русской деревни.

Как мы уже говорили, созданию птицеферм и мясокомплексов “технар” Романов уделял внимания не меньше, чем строительству Ленинградской атомной электростанции или созданию НПО “Ленинец”. С именем Романова в Ленинградской области связано создание крупных специализированных объединений по производству овощей, молока, мяса. В 1971 году было создано объединение тепличных совхозов “Лето”. В 1973 году введён в строй промышленный комплекс по откорму крупного рогатого скота “Пашский”, свиноводческий комплекс “Восточный”... При Романове Ленинградская область полностью стала обеспечивать овощами, куриным мясом, яйцами, молоком не только многомиллионный Ленинград, но и поставлять яйца и кур в другие промышленные центры Северо-Запада.

Увы... Поездка Романова и Фёдора Абрамова в новую русскую деревню так и не состоялась. Но нельзя сказать, что Фёдор Абрамов никак не отреагировал на предложение Романова. Весной 1976 года он вместе с поэтом Антонином Чистяковым и прозаиком Борисом Рощиным ездил по Новгородчине, наблюдая за происходящими на селе переменами. От этой поездки остались очерки “Пашня живая и мёртвая”, “От этих весей Русь пошла”, написанные Фёдором Абрамовым в соавторстве с Антонином Чистяковым, несколько рассказов самого Фёдора Абрамова и воспоминания Бориса Рощина.

“В путешествии, которое совершили мы по Новгородчине, — писал он, — партнёрами мы были неравноправными. Командовал парадом Фёдор Абрамов. Антонин Чистяков был у него вроде как на подхвате, я шоферил. Фёдор Александрович без лишних с нами советов выбирал маршруты поездок, места остановок и ночлега. Он беседовал с людьми, он задавал вопросы ответственным лицам, проверял документы, он платил. Платил в самом прямом смысле этого слова. Платил за наши обеды в придорожных столовых, за продукты, которые покупали мы в магазине, и даже за бензин. Насчёт бензина я было попытался возразить, но Фёдор Александрович решительно пресёк мои возражения, заключив: “У меня, то самое, много денег, Борис. Много денег”. Я, конечно же, знал, что, у кого много денег, тот никогда об этом не говорит, но спорить с Фёдором Александровичем по этому вопросу было бесполезно. Он всегда и за всё расплачивался только сам”.

Каждый “рабочий день” в этой поездке был предельно уплотнён Абрамовым. Борис Рощин приводит запись первого дня той поездки.

“1. Встретились в обкоме КПСС с заведующим сектором печати, радио и телевидения. Затем беседовали с секретарём обкома В. А Цалпаном.

2. Посетили музей северного деревянного зодчества “Витославицы”.

3. Знакомились с новыми жилыми районами Новгорода. Увидев блочные дома, Абрамов проговорил: “В Ленинграде итальянская делегация гостила. Показали им новостройки, говорят: теперь, мол, только начинаем понимать, какая богатая ваша страна. Позволяете себе строить дома, рассчитанные меньше, чем на сто лет”.

4. Осмотрели Новгородский кремль. Мы с Чистяковым не смогли поимённо перечислить все фигуры, изображённые на памятнике Микешина “Тысячелетию России”, чем Абрамова рассердили.

5. Побывали в колхозе “Искра”, беседовали с председателем колхоза, Героем Социалистического Труда Н. М. Андриановым, с колхозниками и специалистами хозяйства. Дорога к центральной усадьбе “Искры” недавно заасфальтирована, возле здания правления чистота, цветы, аккуратная Доска почёта. Рядом скульптура доярки в сапогах, выливающей молоко из подойника в бидон. Скульптурная фигура плотна, костиста, но полна женственностью и по-своему грациозна. Абрамов осмотрелся, проговорил: “Здесь Советскую власть уважают”. И, кивнув на скульптуру, одобрительно добавил (по адресу скульптора, наверное): “А то понаставят вместо доярок балерин...”

Когда распрощались мы с председателем колхоза и расселись в “Москвиче”, Абрамов раскрыл записную книжку (которая почти всегда была у него в руках), записывая: “Как это Андрианов сказал: “После работы волоку себя домой за шиворот”? А?! Ну, писатели, кто из вас сможет короче и образнее сказать про усталость?”

6. Посетили совхоз “Ташкентский”. Осмотрели поля, стройку центральной усадьбы хозяйства, которую вели ташкентцы, точнее, узбеки, приехавшие работать на новгородскую землю из своей республики. Разговаривали с ташкентцами. Затем долго беседовали с председателем исполкома Лесновского сельсовета Виктором Константиновичем Зеновым и секретарём сельского Совета Ниной Павловной Махиной. Более всего Абрамова поразило “стройное место”, выбранное для центральной усадьбы совхоза. Осушенное болото, вокруг до самого горизонта ни деревца, ни кустика. Летом пыль, земля под ногами, как камень. Весной и осенью — непролазная грязь. Более неприглядного места в районе искать — не найдёшь. Недаром место это в недавнем прошлом носило название Грязная Харчевня. Теперь название: Лесная.

7. По предложению Абрамова навестили семью новгородского писателя Леонида Воробьёва. Вместе с вдовой Воробьёва съездили на кладбище, возложили цветы на могилу этого талантливого, рано ушедшего из жизни писателя”.

На ночёвку остановились у Александра Васильевича Ежова, и вечером Фёдор Александрович пригласил всех в ресторан “Садко”. Поехали на “Запорожье” хозяина квартиры, но в ресторан попасть не удалось.

— Не обслуживаем! — объяснил белокурый молодец в расписной рубахе, подпоясанный кушаком. — Иностранную делегацию ожидаем.

Одноногий — ему оторвало ногу выше колена на “Невском пяточке” — Александр Васильевич Ежов принялся шептать молодцу, что это писатели, что сам Абрамов здесь, но молодец был неумолим.

— Поехали домой, — буркнул Абрамов и, круто повернувшись, захромал к выходу. В кабине он повернулся к Ежову и мрачно проговорил: — То само, Саша, почему вы все такие?... Ведь у тебя в руках, то само, был костыль...

3

Не об этом ли унижении в России русского человека вспоминал Фёдор Александрович Абрамов, когда, выступая на Шестом съезде писателей СССР, размышлял о происходящих в Нечерноземье переменах: “В деревне сегодня в результате небывалого вторжения техники и науки происходит поистине небывалая, ни с чем не сравнимая революция. Речь идёт не просто о коренной перестройке сельского производства, всего уклада деревенской жизни. Речь идёт об изменении русской географии, об изменении лика русской земли.

Я вот ехал недавно из Новгорода в Питер. Небывальщина! Степь залетела в Ленинградскую область — такое пашенное раздолье по обе стороны шоссе. Это на месте-то недавних кустарников и болот! И подобные изменения в русском пейзаже сегодня можно наблюдать и в других наших областях...

Но, конечно, это только начало. Предстоит в полном смысле заново сотворить русское поле, построить такие селения, где бы зелёная радость деревенского существования была дополнена всеми благами современного города. А это задача гигантская. Задача, прямо скажем, библейских масштабов,

от решения которой зависит наше будущее. Процесс великого созидания и великой ломки”.

Принимая и одобряя то преобразование, которое происходит в сельском хозяйстве России, Фёдор Абрамов говорил о том, что ни мелиорация земель, ни возведение оборудованных по последнему слову техники комплексов, ни другие капиталовложения не решат ничего, пока без ответа остаются гораздо более важные вопросы... “Старая деревня с её тысячелетней историей уходит сегодня в небытие... А что это значит — уходит старая деревня в небытие? А это значит — рушатся вековые устои, исчезает та многовековая почва, на которой всколосилась вся наша национальная культура: её этика и эстетика, её фольклор и литература, её чудо-язык... Деревня — наши истоки, наши корни. Деревня — материнское лоно, где зарождался и складывался наш национальный характер.

И вот сегодня, когда старая деревня доживает свои последние дни, мы с особым, обостренным вниманием вглядываемся в тот тип человека, который был создан ею, вглядываемся в наших матерей и отцов, дедов и бабок. Ох, немного выпало на их долю добрых слов!

В чайнии нового прекрасного человека, в жадном порыве к новой обетованной земле социализма мы частенько смотрели на них свысока, как на неполноценную породу людей, как на “полу-полу”, как на людей, погрязших в собственничестве и разного рода пережитках. А между тем на них, на плечах этих безымянных тружеников и воинов, стоит здание всей нашей сегодняшней жизни.

Вспомним, к примеру, только один подвиг русской бабы в минувшей войне. При этом я ни на минуту не забываю о подвижничестве женщин других народов нашей великой страны. Но говорю о русской бабе, потому что о русской прозе веду речь. Ведь это она, русская баба, своей сверхчеловеческой работой ещё в сорок первом году открыла второй фронт, тот фронт, которого так жаждала Советская армия. А как, какой мерой, каким мерилом измерить подвиг все той же русской бабы в послевоенную пору, в те времена, когда она, зачастую сама голодная, раздетая и разутая, кормила и одевала страну, с истинным терпением и безропотностью русской крестьянки несла свой тяжкий крест вдовы-солдатки, матери погибших на войне сыновей!

Так что ж удивительного, что старая крестьянка в нашей литературе на время потеснила, а порой и заслонила собой других персонажей? Нет, не идеализация это патриархальщины, не пресловутая тоска по *уходящей избяной Руси*, как иной раз с такой бездумной лёгкостью и даже высокомерием вещают некоторые критики и даже некоторые писатели, а наша сыновья, хотя и запоздалая благодарность.

Вместе с тем большой разговор в литературе о людях старого и старшего поколений — это стремление осмыслить и удержать их духовный опыт, тот нравственный потенциал, те нравственные силы, которые не дали пропасть России в годы самых тяжких испытаний.

Да, тёмные и малограмотные, да, наивные и чересчур доверчивые, да, порой граждански невоспитанные, но какие душевные россыпи, какой душевный свет! Бесконечная самоотверженность, обострённая русская совесть и чувство долга, способность к самоограничению и состраданию, любовь к труду, к земле и ко всему живому — да всего не перечислишь. К сожалению, современный молодой человек, взращённый в иных, более благоприятных, а порой просто тепличных условиях, не всегда наследует эти жизненно важные качества...

И одна из главных задач современной литературы — предостеречь молодёжь от опасности душевного очерствения, помочь ей усвоить и обогатить духовный багаж, накопленный предшествующими поколениями. И это вопрос не узко моралистический, не отвлечённый. Это вопрос вопросов всего нашего бытия. И в него, в этот вопрос, в конечном счёте, упирается подъём русского Нечерноземья, реализация тех грандиозных планов преобразования русской деревни, которые намечены в известных постановлениях партии и правительства.

В последнее время мы много говорим о сохранении природной среды, памятников материальной культуры. Не пора ли с такой же энергией и напором ставить вопрос о сохранности и защите непреходящих ценностей духовной культуры, накопленных вековым народным опытом?”

Перечитывая сейчас выступление Абрамова, понимаешь, что отнюдь не случайно так настойчиво звал его Романов в совместную поездку по области. Писатель и член Политбюро ЦК КПСС о многом думали одинаково и, наверняка, если бы поездка состоялась, это пошло бы на пользу обоим, а может быть, и всей стране.

Если бы призыв Фёдора Абрамова оказался услышанным, и руководители страны сумели опереться на духовный и нравственный потенциал старой России, если бы взялись за “защиту непреходящих ценностей духовной культуры” с такой же энергией и напором, какую некоторые из них проявляли в хозяйственной деятельности, страну, может быть, и удалось бы отвести от пропасти, к которой она приближалась.

Все свои силы, весь свой талант, всю свою душу готов был отдать Фёдор Абрамов, чтобы докричаться до русского человека...

4

Последний роман тетралогии — это тоже попытка писателя докричаться до страны, до народа, это попытка сообщить всем о той катастрофе, к которой приближается наша страна...

Роман не случайно назван так... Слово это, пожалуй, из числа наиболее употребляемых Фёдором Абрамовым в семидесятые годы.

Дом — это та веркольская изба, которая возникла в Верколе из мучительных бессонниц в чужих жилищах. Фёдор Абрамов поставил её в 1974 году на угоре, недалеко от того дома, в котором родился...

Разумеется, это сам роман, который Абрамов писал с 1973-го по 1978 год...

Но главное, дом — это образ России, путь выхода её из духовного кризиса, тот корень, который ещё способен был, как казалось Фёдору Абрамову в середине семидесятых, напоить советское общество живой водой возрождения морали и нравственности. “Главный-то дом человек в душе у себя строит... — говорит Егорше в романе “Дом” старовер Евсей Мошкин. — И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет”.

Работа над романом “Дом”, судя по записям в дневнике, не очень и отличалась от строительства настоящего дома. Писательская работа — “Вот и начал размахивать пером-топориком. Перебрал три подглавки 7-й главы... Четвёртую подглавку придётся рубить заново” (11 октября 1976 года); “Снова колдую над “Домом”. Топор, руки притупились — со скрипом выковыриваю, вырубая слова. Но как-никак, подглавку “У Петра Житова” написал” (5 января 1977 года); “Строительство “Дома” — закончил. Каков-то он будет в эксплуатации?” (13 февраля 1978 года) — вбирала в себя и впечатления от стройки, и обретённую на строительство настоящего дома споровку-поэтику.

И неудачи строительства тоже вбирал в себя роман.

Знаменательно, что, построив в 1974 году за несколько месяцев — использована была старая изба! — дом на угоре, Фёдор Абрамов и сам не понимал, **что** он построил. “Вернувшись в Ленинград, — вспоминает Л. В. Крутикова-Абрамова, — он отдал мне ключ от дома и сказал: поезжай, обживай дом... Приехала в Верколу 2 августа 1974 года, осмотрела дом и руками развела: кухни нет, окна без форточек, в комнате даже спать нельзя — душно, пахнет краской. Окна открыты нельзя — комары, мошка... но красота кругом — глаз не отвести... Дома, в Ленинграде, я сразу высказала свои недоумения: почему кухни нет, почему всего одна печь, да и та в большой комнате-“кабинете”, без духовки, разве на ней что-нибудь пригостишь? Ведь жарко летом... И тут, к великому удивлению, услышала ответ:

— Так мы не будем дома готовить!

— А как же?

— К братану ходить будем.

Братан Фёдор Захарович Клопов и его жена Нина Афанасьевна — чудные люди, они опекали Фёдора во время стройки, он у них завтракал, обедал и ужинал. И так к этому привык, что решил и впредь столоваться у них. Но жили-то они на другом конце деревни, полтора-два километра от нашего дома. И тут я поразились наивности и бытовой неприиспособленности своего мужа”⁷.

Новый роман в чем-то оказался похожим на построенный в Верколе дом... Понятно, с какой целью Абрамов строил его, труднее было сообразить, как он должен работать. Трилогия “Пряслины”, включающая в себя романы “Братья и сёстры”, “Две зимы и три лета”, “Пути и перепутья”, уже образовала художественно-цельное, завершённое произведение. Ритм эпического повествования — действие романа “Братья и сёстры” происходит летом 1942 года, романа “Две зимы и три лета” — в 1945–1947 годы, герои романа “Пути и перепутья” живут в начале пятидесятых — был задан, временные паузы между романами определены.

И хотя все эти годы копился материал для четвёртой книги, Фёдор Абрамов и как художник, и как литературовед не мог не понимать, что передвинуть действие нового романа в современность невозможно, поскольку он безнадежно отстал со своей эпопеей от движения реального времени.

Действительно... Роман “Братья и сёстры” о военной деревне был написан в пятидесятые годы. Отставание: 1957 — 1942 = 15 лет.

В шестидесятые — роман “Две зимы и три лета”. Отставание: 1967 — 1947 = 20 лет.

Роман “Пути и перепутья”, действие которого завершается в начале пятидесятых, Фёдор Абрамов завершил в начале семидесятых, так и не сумев сократить отставание от реального времени.

С 1942 года в трилогии прошло всего одно десятилетие, а в жизни — уже тридцать лет, и “добежать” до современности не получилось бы и в четвёртом романе, если продолжать двигаться в заданном темпе. Ну, а изменение временного ритма повествования могло быть чревато потерей не только художественности, но и той глубокой, народной правды, которую несла в себе трилогия.

Разумнее было взяться за работу над другим произведением и на его страницах попытаться понять, как превратили в пустошь тысячелетнюю Россию⁸. Но — вспомните выступление Фёдора Абрамова на Шестом съезде писателей СССР! — ему не интересно было разбираться, **кто виноват**, более волновал его ответ на вопрос, **что делать** теперь? Сумеет ли поднятая целина русского Нечерноземья сохранить духовный опыт предшествующих поколений? Останется ли деревня “материнским лоном, где зарождался и складывался наш национальный характер”?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, и решается Фёдор Абрамов, уподобившись Александру Дюма, перебросит героев завершённой трилогии через два десятилетия в пространство романа “Дом”. Действие романа происходит в 1972 году, когда Михаилу Пряслину было уже сорок четыре года. Другой стала жизнь в Пекашине: колхоз реорганизовали в совхоз, и директорствовал теперь в нём не похожий ни на Анфису, ни на Лукашина Таборский.

5

Разумеется, решиться на столь рискованный эксперимент Абрамову было непросто. Подготовительная работа к роману не ограничивалась рабочими записями, а включала в себя, как это ни странно, и такие самостоятельные произведения, как повесть “Пелагея”.

Некоторые критики считают, что “Пелагея” (сюда же приплюсовывают и “Альфу”, родившуюся из отсечённых при редакции глав повести), — это одно из самых значительных произведений о советской деревне, а саму Пелагею даже сравнивают с героиней рассказа А. И. Солженицына “Матрёнин

двор”. Не отвергая подобных оценок, скажем, что, при всех несомненных достоинствах повести, это ещё, так сказать, и разведка боем, попытка проверить, можно ли, сохраняя характеры, созданные в романах о военном и послевоенном времени, перепрыгнуть через десятилетия в годы застоя. “Пелагея”, пожалуй, единственное произведение Фёдора Абрамова, в котором, как и в “Доме”, героиня перемещается из послевоенных лет сразу в конец шестидесятых. В повести эта попытка вроде бы удаётся.

Возвращаясь домой с работы в пекарне, Пелагея — кажется, что это происходит на страницах “Братьев и сестёр” или романа “Две зимы и три лета” — валится на голый крашенный пол, чтоб “охолонуть”, лежит неподвижно, закрыв глаза, трудно, с присвистом, дыша, и только потом, повернувшись лицом к больному мужу, начинает расспрашивать его о хозяйстве, а потом встаёт, выпивает пять чашек чая без сахара и начинает хлопотать по хозяйству... И такая усталость одолевает её, что и на семейные торжества не может идти Пелагея... Но вот кликнул её в гости Пётр Иванович, и она идёт в его дом, где собрались председатель сельсовета и председатель колхоза, председатель сельпо с бухгалтером и начальник лесопункта, и другие нужные поселковые люди, и приходит... совсем в другую эпоху, которая уже не помнит ни “Братьев и сестёр”, ни “Двух зим”...

Критики, анализируя “Пелагею”, по обыкновению рассуждают, что чёрствость, расчёт, бездушные покрывают ржавчиной самые народные низы, ужасаются, что духовное перерождение советского общества достигло его фундамента... Всё это, может быть, и справедливо, но только не по отношению к Пелагее. Какое перерождение, если Пелагея по-прежнему зарабатывает свой хлеб тяжёлым трудом, по-прежнему вкладывает в работу всю свою душу, по-прежнему — одна только продажа ей залежавшейся жакетки под видом дефицитного товара чего стоит! — её бессовестно обманывают на каждом шагу? В чём же перерождение? В том, что она старается своему борову принести из пекарни помоев погуще? В том, что собирает приданое дочери? Нет, в том и состоит трагизм повести, что никакого перерождения Пелагеи не могло произойти, она — прежняя. Это вокруг Пелагеи всё другое, но в это время, в котором “чёрствость, расчёт, бездушные покрывают ржавчиной самые народные низы”, проникнуть Пелагее не удаётся, хотя и очень хочется.

“Пелагея плохо помнила, как ушёл от неё Пётр Иванович. Её душил кашель, она задыхалась. И в то же время ей было необычно хорошо. Хорошо до слёз, до знойного жара в груди. И она хватала запёкшимися губами избойной воздух и всё больше и больше распалая своё воображение надеждами. Теми радужными надеждами, которые заронил в неё Пётр Иванович... На какое-то мгновение она потеряла сознание, а потом, когда пришла в себя, ей показалось, что она стоит у раскалённой печи на своей любимой пекарне и жаркое пламя лижет её жёлтое, иссохшее лицо. Она задыхалась. Ей было нестерпимо жарко. “На пол, на пол надо, — по старой привычке подумала она. — Крашенный пол хорошо вытягивает жар из тела...”

Так, лежащей на голом полу возле кровати, и нашла её наутро Анисья. Она бросилась поднимать её. И вдруг отшатнулась, встретившись с неподвижным, остекленевшим взглядом”.

Встреча эпох не удалась. “Альки на похоронах не было... приехала лишь неделю спустя и первым делом, конечно, оплакала дорогих родителей... Потом два дня у Альки ушло на распродажу отрезков, тряпья, самоваров и прочего добра, нажитого матерью. А на пятый день Алька заколотила дом на задворках, возложила прощальные венки с яркими бумажными цветами на могилы отца и матери и к вечеру уже тряслась в районном автобусе. Ей не хотелось упустить весёлое и выгодное место на пароходе”.

Повесть “Пелагея” — малообъёмное произведение и авторское насилие над временем, в котором Абрамов разместил свою героиню, заметила, кажется, только веркольская пекариха Екатерина Макаровна Абрамова, послужившая прототипом Пелагеи. При первой же встрече летом 1970 года она с нескрываемой обидой попеняла Абрамову:

— Слышали, слышали, Фёдор Александрович, как меня прописал... Сказывали... Пелагея сундуки накопила... Пелагея на ситцах да на крепдешинах

помешалась... Две плюшевки заимела... А того не слышал, как Пелагея робила? Муж больной сколько лет трясуясь ходил да лёжкой лежал, свёкор немощен, мать-свекровушка тоже рукой не пошевелит, четыре девки мал-мала меньше... Да, как думаешь, легко Пелагее было? О сундуках Пелагея думала?

И хотя Фёдор Александрович попытался объяснить, что Пелагея списана не с неё, Екатерина Макаровна так и не простила ему обиды.

Путаница со временем в “Пелагее” огорчила и Василия Ивановича Белова. “Дорогой Василий, — защищаясь, отвечал ему Абрамов, — удивил ты меня страшно: я облачаю русского мужика... Да где же это? В “Пелагее”? Да что я, по-твоему, мерзавец? Не сын этого самого русского мужика? Нет, нет, говорить правду — это ещё не значит обличать. А русский мужик сегодня ни в чём так не нуждается, как в этой самой правде. Ибо все его одинаково облапошивают: и обличители, и те, кто слезу над ним пускают. Все смотрят на него как на *недочеловека*.”

Я не против жалости, нет. Я за жалость. Но одной жалостью ничего не сделаешь — это мне ясно. И ясно мне также, что литература должна хоть, по крайней мере, объяснять жизнь. “В начале было Слово...”

Вот на чём стою”.

Фёдор Абрамов защищал тут, разумеется, не столько “Пелагею”, сколько роман “Дом”, который собирался писать, потому что именно там и появится русский мужик, который “ни в чём так не нуждается, как в этой самой правде”. И, декларируя, что “литература должна хоть, по крайней мере, объяснять жизнь”, Фёдор Абрамов уже не столько для Василия Ивановича Белова, сколько для самого себя обосновывал необходимость применения великолепно отлаженного инструмента трилогии для художественного исследования происходящих в российском Нечерноземье процессов.

6

Судя по дневнику, ни над одним своим романом не работал Фёдор Абрамов так мучительно трудно, как над “Домом”. “Работаю. Третий день работаю. Запоем. С утра до вечера. И, как всегда, пропал сон... Вчера я, можно сказать, написал труднейшую главу — встреча близнецов с Лизой. А сколько сделал заметок к другим главам!” (2 июля 1973 года). “Ура! Наконец-то нашёл братьев-близнецов. Думаю, Михаил — невольный бездельник во время страды — да братья-близнецы — это самое значительное, что я сделал в Комарове” (7 июля 1973 года). “Были, были счастливые деньки за эту неделю. Но сегодняшний день, кажется, самый счастливый. Во-первых, родился Таборский. Глеб, Глеб¹⁰ и больше никто. А кто помог найти? Галя! С ней вчера до часу толковали о Верколе, о её делах в совхозе, об ихнем директоре, о котором она так дельно рассказывала, что я был просто в восторге, и который, кстати сказать, мне то и дело напоминал Глеба (о нём мы, кстати сказать, говорили и с Глебом). И вот сегодня закрутилась машина. Оригинальный тип!” (5 декабря 1974 года).

“Что-то вроде дня рождения сегодня... — записывает Абрамов 28 февраля 1975 года. — Опять тупик с этим “Домом”. Перечитываю ранее написанные главы и поражаюсь их беспомощности и бесформенности. Как будто я и не писал ничего до этого, как будто и пера не держал в руке. Не знаю, не знаю — не впустию ли всё это? По мне ли эта стройка? Главная беда в Петре: не живёт сукин сын, и хоть лопни. А без Петра, какой роман? Невесёлый день моего пятидесятипятилетия. С утра шёл мокрый снег, потом прогнануло солнышко, а в общем, не бодрит. Тоска на сердце”. “Неожиданное, прямо-таки молниеносное озарение: Пётр должен стать опорой пряслинской семьи, в какой-то мере заменить Михаила, а значит, и найти себя, разом решить все мучившие его вопросы: как жить, что делать, в городе оставаться или в деревню переезжать и т. д. Короче, в Петре должен взять верх пряслинский дух, дух братства и взаимопомощи.”

Мысль пустяшная, лежащая на поверхности, а я возликовал. Наконец-то найден Пётр. А то ведь я не знал, что делать с ним. Ошибка моя была

в том, что я искал решение этого образа в тесных рамках его личного характера, не соотнося его с общим пафосом всей эпопеи. Давно-давно я не испытывал такой радости. Вдруг всё оттаяло, зацвело в груди, и я снова увидел красоту мира, снова у меня появилось слово” (12 сентября 1975 года).

“Опять — стоп. Целый день, с девяти часов утра до одиннадцати часов вечера сидел, не разгибаясь, за столом, написал почти подглавку и думал: получается. Во всяком случае, волновался, когда писал. А прочитал Люсе, и хоть караул кричи: плохо. Никак не хочет влезать в роман Пётр” (14 сентября 1975 года). “Напрасно думал, что Пётр найден. Нет, только сегодня он обрёл свой внутренний облик, свою пружину. Григорий сделал его человеком, ибо Григорий заставил его страдать. В этом суть образа” (19 сентября 1975 года).

Но проблемы в романе были не только с Петром, вернее не столько с Петром. Не вмещались в роман и главные персонажи: Михаил и Лиза Пряслины. “Самое великое открытие дня — Михаил, — записал Абрамов ещё 5 декабря 1974 года. — Трагическая фигура! Лишний человек нашего времени. А всё из-за своей честности, рабочего рвения. Ну, не дико ли: истинно рабочий человек враждебен времени. Время, люди не принимают его”.

Фраза эта нуждается в расшифровке... В романах “Две зимы и три лета”, “Пути и перепутья” мы видели Михаила, этого первого парня на деревне, подлинным **ХОЗЯИНОМ** села, человеком, который отвечает в Пекашино за всё и не только растрчивает силы на исполнение своего тяжкого долга, но и черпает их в самоотверженном служении. Абрамов не идеализировал Михаила, не расчищал ему писательской рукою дорогу. Пряслин сталкивался с серьёзными трудностями, попадал в нелёгкие обстоятельства, зачастую оказывался в невыигрышных ситуациях, но его образ наполнен такой высокой духовной красотой, что даже когда Егорша и брал, казалось бы, верх над ним, нравственная правда оставалась на стороне Пряслина.

Михаила Пряслина Фёдор Александрович писал со своего старшего брата Михаила, каким он был в начале тридцатых. Сохранилась фотография Михаила Александровича Абрамова, сделанная в 1955 году незадолго до его смерти. Выпивший, он сидит рядом с С. И. Пономарёвым на крыльчке, в огромных растоптанных валенках, и такой он маленький, такой ссутулившийся, что поначалу и непонятно, как мог он стать прототипом русского богатыря. И только присмотревшись, понимаешь, что ушла лишь косая сажень в плечах, а духовная сила осталась, съёжилась в колочность и поперечность, но никуда не исчезла из прототипа и накануне смерти.

А вот Михаил Пряслин в “Доме”, сохраняя внешнее сходство со своим предшественником из первых трёх романов, усыхает не физически, а нравственно... Самый необходимый селу человек, он стал чужим наступившей в Пекашино жизни...

Сделав эту оговорку, попытаемся понять, в чём же заключалось сделанное Фёдором Абрамовым 5 декабря 1974 года открытие. По сути дела, рассказывая о трагедии Михаила Пряслина в семидесятые годы, Фёдор Абрамов совершил рокировку: вместо умершего прототипа героя решил поставить самого себя, передоверив герою рассказать в “Доме” о своей трагедии, трагедии человека, который должен верить, который не может не верить, пусть не в Бога, пусть в Советскую власть, пусть во власть неких нравственных принципов, но верить в неё, как в Бога.

И Фёдор Абрамов, и его герой Михаил Пряслин, даже ощущая на себе несправедливость власти, готовы смириться с этой несправедливостью, как смиряется верующий в Бога человек с непостижимостью Божьей Воли, при этом никогда не теряя уверенности в Её высшей справедливости и обличая любые попытки подорвать эту уверенность... Власть, в которую хотели бы верить и Михаил Пряслин, и сам Фёдор Абрамов, разумеется, не могут обеспечить ни директор совхоза, ни редактор журнала, ни секретарь райкома или обкома КПСС. Власть — это то, что невидимо, непостижимо, это то, что не может существовать рядом с тобою, но, тем не менее, всегда должно присутствовать в твоём пространстве, обеспечивая верховенство справедливости.

Паразитально, насколько сходно в начале семидесятых реагируют на то, что воспринимается ими, как несправедливость, Михаил Пряслин и Фёдор Абрамов. В этом некоторые страницы “Дома” почти текстуально перекликаются с дневниками: “Сколько раз говорил он себе: спокойно, не заводись! Почаще включай тормозную систему. Сколько раз жена его наставляла, упрасивала: не лезь, не суй нос в каждую дыру! Всё равно ихний верх будет. Нет, полез. Не выдержал. Да и как было выдержать? Сидят, мудруют, словочи, как бы кого с сенокоса выцарапать да на пожар запихать, а то, что скотина без корма на зиму останется, на это им наплевать. Вот он и влушил, вот он и врзал. Внёс конкретное предложение”¹¹...

“Обсуждение “Деревянных коней” в Управлении культуры Моссовета. Тон доброжелательный. Хвалили за актуальность проблематики, за яркую режиссуру, за актёрские удачи. Но была высказано немало и критических замечаний. Цинизм невероятный. Никому не известные чиновники советовали, требовали, как решать отдельные сцены, играть роли и т. д.

Я всё это слушал-слушал и рубанул: а почему бы вам самим не ставить спектакли, вам — управлению, раз вы всё знаете и понимаете?”¹².

7

Трудности работы над романом “Дом” усиливало ухудшение здоровья Фёдора Александровича. Начиная со второй половины семидесятых и уже до конца — вот он роковой рубеж Абрамовых! — болезни и больничные палаты занимают всё больше пространства в его жизни.

“22 сентября 1976 года. Ещё неделя украдена у романа. На этот раз болезнью. Ну, да мне не хныкать надо по этому поводу, а радоваться безмерно. Ведь мог под нож попасть! Мог месяцами давить больничную койку. Господи, что за кошмар был! Просыпаюсь около двух часов ночи (в ночь с 16 на 17) — дикие боли в спине. Впечатление — лёгкие отваливаются. И я так и сказал Люсе: лёгкие болят. Катался, корчился, всё прокиная, часа два, потом вызвали “неотложку”, потом “скорую”. И те, и другие кололи, писали бумаги — боли не проходят... Тогда повезли в Институт скорой помощи. Опять уколы, опять бесконечные выстукивания и ощупывания, блокада, кровь... Я корчился двенадцать часов от непрерывных болей. В спине, животе, в правом боку, в лопатке... Ползучая, кидаящаяся боль, и это-то и путало больше всего врачей”.

“25 сентября 1976 года. Ну, и хватило опять! Принимал но-шпу (сколько раз), жарился в кипятке (едва из ванной вылез) — ничего не помогает. К двенадцати часам ночи вызвали Гиту¹³ с зятем, “неотложку” из Свердловки¹⁴. Сперва вкатили анальгин с новокаином — не помогло, во втором часу проснулся — опять боли. Опять вызвали “неотложку”.

“27 сентября 1976 года. Итак, то, чего больше всего боялся, случилось: я в больнице. Всё произошло довольно быстро. Сперва осмотрели урологи (В. Я. Ямпольский, ещё какой-то профессор), затем — бывший главный хирург области Валентина Дмитриевна Барева, женщина властная, решительная. Она-то и вынесла окончательный приговор: холецистопанкреатит. Нужна немедленная госпитализация. И по своей слабости начал вымалывать слова утешения. Таковых не последовало. В. Я. Ямпольский даже приблизительно не назвал срок, в течение которого я должен быть в больнице.

Положили в хирургию: чтобы в любое время положить под нож. Условия пока сносные — лежим вдвоём в трёхместной палате. А ведь сперва впихнули в восьмиместку. И вот когда я струхнул! Шум, крик, транзистор наяривает — да разве это по мне?

День, слава богу, прошёл вполне прилично. Три часа вливали из капельницы какие-то растворы (один — глюкоза), студили ледяным пузырьём брюхо. Боли в правом подреберье не прошли, но, по-моему, поменьше.

Сколько-то здесь придётся проторчать? Ах, если бы дело всё свелось к обследованию да профилактике!

Яшин бедный лёг и не вышел. А я? Нельзя мне, Господи, пропадать, пока “Дом” не построен”.

“28 сентября 1976 года. 13 часов. “Откололи... спасли”, — так говорят наши старухи, которых поставили на ноги после инсульта. Ну, а меня отколют? Дюже шибко стараются... Пришла в голову великолепная мысль — назвать свои автобиографические записки (должен же я когда-нибудь их написать) “Записки счастливого человека”. И это — точно. Меня, действительно, начиная с самого детства, когда все старухи желали мне смерти, спасало Провидение.

Для чего? Это другой вопрос. Но спасало. Авось спасёт и на этот раз. Ну, а если ко дну — что ж, можно быть благодарным жизни и за отпущенные годы”.

“29 сентября 1976 года. 21.30. Хорошо ли я делаю — один в трёхместной палате? (Александров сегодня выписался). В больнице тесень, в больницу очереди, а я роскошествую. И ведь — надо говорить правду — сам приложил руку. Сам просил по возможности не подселять никого. Нет, всё-таки я свинья. Шумно, шумно на каждом углу против привилегий, а сам что делаю?”

Этот блок дневниковых записей, сделанных в больнице, достаточно точно рисует весь спектр состояний, переживаемых Абрамовым в критической ситуации болезни. Будучи очень крепким от природы человеком, он и потеряв в бою за противотанковый ров своё богатырское здоровье, лет двадцать после войны держался и даже и не пытался оформить положенную ему инвалидность, а теперь, когда организм начал сдавать, так и не сумел научиться болей.

Болезни и сопутствующие им боли Абрамов переносил плохо, малодушно впадал в панику, раздражался, и это раздражение ещё более ухудшало его состояние... Но стоило только утихнуть боли и сразу: “Сколько-то здесь придётся проторчать?” — возвращались мысли о работе, возвращался страх смерти, вернее не самой смерти, а страх не успеть завершить начатую работу: “Нельзя мне, Господи, пропадать, пока “Дом” не построен”. Ну, а затем от этих молитв и мыслей о Провидении, столько раз спасавшего его, Абрамов легко и как-то обыденно переходил к недовольству собою, своим поведением, своей — “шумно на каждом углу против привилегий, а сам что делаю?” — непоследовательностью в отстаивании нравственных принципов. Впрочем — надо отметить и это! — недовольство собою не побуждает его отказать от привилегии.

Алгоритм “боления” повторялся из раза в раз и, хотя Абрамов и не проявлял, входя в болезнь, необходимого спокойствия и мужества, но выходил из болезни, как и подобает, очищенным страданием, что, впрочем, не мешало ему тут же увязать в интеллигентской рефлексии.

8

Дом Ставрова в тетралогии “Братья и сестры” Фёдор Абрамов поместил там же, где стоял в Верколе, на заросшем черёмухой краю деревни, дом его родителей. И хоть Пекашино не Веркола, а вымышленная деревня, угор тут тот же, Пинега под ним та же, тот же монастырь на другом берегу реки, и дали те самые... И дом, в котором родился Абрамов, стоял распиленный, как ставровский дом в последних главах “Дома”. А рядом с ними, чуть сдвинувшись на угор к реке, обитый зелёной вагонкой дом, который построил сам Фёдор Абрамов. Рядом с ним — лиственница, описанная во всех его романах.

Гибель дома Степана Андреяновича совпадает с раздорами и разором в пряслинской семье. Что осталось от неё? Мать умерла, Фёдор в тюрьме, Татьяна в Москве. Михаил с Лизой рассорились, разошлись. После рождения Лизой близнецов, прижитых от постояльца, Михаил смотрит на неё, как на врага.

Собрать семью Вани-силы, соединить Пряслиных пытается приехавший из города Пётр. Для этого он и начинает ремонтировать старый дом. “Известно, — отмечает критик, — что имя Пётр означает “камень”. На этом

камне — камне нового поколения Пряслиных — и хочет Абрамов возвести основание Дома”¹⁵.

Это ещё одна рокировка в романе. Пётр должен заменить в “Доме” Михаила Пряслина, который, сохраняя внешнее сходство со своим предшественником из первых трёх романов, усох нравственно, сделался чужим и ненужным не только наступившей в Пекашино жизни, но и своей семье...

“Михаил ждал: вот-вот заговорит Пётр, прояснит, найдёт нужные слова тому большому и важному, что смутно и неопределённо бродило, ворочалось в нём в эту минуту, — учёный же человек! Но Пётр молчал, и он вдруг зарорал, как под ножом:

— А ты думаешь, нет, что с домом-то делать? Ждёшь, когда Паха за него примется? Ну да... Чего теперь для тебя какой-то там дом из дерева, раз сам Калина Иванович всю жизнь чихал на свой дом. А между прочим, Россия-то из домов состоит... Да, из деревянных, люди которые рубили...

Он махнул рукой — бесполезно сейчас с Петром говорить о ставровском доме. Не домом у него голова занята. Да он ведь и сам в эту минуту меньше всего думал о ставровском доме”¹⁶.

Попытки заменить Михаила Пряслина Петром разрастаются в романе “Дом” в сюжетную линию, но это не спасёт семью Пряслиных, а приведет её к катастрофе — к гибели Лизы.

“Гуляя по набережной Невы, думал о Петре, о доме Степана Андреевича, о том, что значит дом для Петра... — записывает Фёдор Абрамов 17 октября 1975 года. — И вдруг, как ударило: пришла на ум концовка романа. Никаких Лизинных писем из больницы! Это всё беллетристика. А кончить — Михаил в больнице возле умирающей Лизы. И даже точнее: ценой собственной жизни опять собирает Пряслиных вместе. *Смертью смерть поправ...*

Всё живо представил в лицах, в яви и вот в садике у “Юбилейного” дворца разрыдался. Да так, как не плакал после ноября <19>43-го. После того, как получил известие о гибели брата Николая. Но тогда, надо правду говорить, был элемент “самонакачки”, “завода”, для того чтобы достойно почтить память брата, а здесь всё само собой. И это понятно. Кто же умирает? Кого же я убиваю? самого дорогого мне человека на свете!”

9

Лизу же задавило охолупнем в романе “Дом”, когда в Верколу приехали студенты Ленинградского театрального института со своим руководителем Львом Абрамовичем Додиным. Они собирались ставить дипломный спектакль по “Братьям и сестрам”, и хотя Абрамов усомнился, удастся ли молодым ребятам показать всю глубину характеров и вместить роман в рамки пьесы, студенты на свой страх и риск решили приехать в Верколу, чтобы ближе узнать людей, с которых писался роман.

“Самый счастливый и радостный день! — записал Фёдор Абрамов 19 августа 1977 года. — И от кого счастье-радость? От студентов Ленинградского театрального института. Семь часов сидели за столом **в одной из келий монастыря** при керосиновой лампе. Говорили о Пинеге и Верколе, о местных людях, затем пели (они, конечно, студенты), а потом снова говорили. И так семь часов — с пяти до двенадцати...

Очень хорошо, что соприкосновение с Пинегой пробудило в них национальное самосознание. Во всяком случае, много говорили о России. Один парень сказал (когда пустили чашу с пуншем по кругу): пусть родина абрамовских героев станет и нашей родиной. Провожали нас с лампой и фонарём до реки, а потом тьма крошечная навалилась на нас. Но мне было светло. Свет молодости светил мне всю дорогу”...

Слова о “самом счастливом и радостном дне” надо запомнить. Судя по дневнику, не так уж и много столь же светлых ощущений довелось испытать Фёдору Абрамову в Верколе. Да и то, относились они в основном к общению с природой, к собственной писательской работе.

А вот общение с самими земляками и веркольской роднёй такой радости не приносило. Отчасти это объяснялось тем, что относились в Верколе к Абрамову, как к герою его рассказа “Старухи”, любили выпросить, “где служит (мою писательскую работу они всерьёз не принимали), сколько получает, на чём приехал из района — вместе со всеми в пыльном автобусе трясся или, сидя вразвалку, на цветастом ковре райкомовской легковухи?”

С годами⁷, — став лауреатом Государственной премии, Фёдор Абрамов приобрёл авторитет и в Карпогорском районе Архангельской области, — на счёт службы земляки перестали интересоваться, но отношение к Абрамову, как к своему деревенскому мужику, сумевшему сделать в городе удачную карьеру, не изменилось. По-прежнему, если и читали они книги писателя, то в основном для того, чтобы узнать, с кого списан тот или другой персонаж, а не для того, чтобы самим стать лучше. Ничего удивительного в этом не было. Ещё в библейские времена было сказано, что, дескать, несть пророка в своём Отечестве, так что же говорить о русской деревне, в которой полстолетия подряд изничтожали духовность и народную культуру, из которой высасывали не только продукты, но и самое способное и энергичное население...

Фёдор Абрамов понимал это, но само осознание, что людей, способных пожелать обрести Родину в Верколе, стать земляками его героев, надо привозить в Верколу из больших городов, выучив перед этим в театральном институте, приводило его в отчаяние. Это отчаяние и двигало им при создании “Дома”. Увы...

Философско-нравственный фундамент “Дома” — “Лиза в истории с домом готова ради Степана Андриановича пожертвовать собою. И этой жертвы Егорша не выносит. Добро убивает его”¹⁸ — оказался не то, чтобы непрочным, но сооружённым в стороне от основных конструкций романа.

Если в романах “Братья и сёстры”, “Две зимы и три лета” Фёдору Абрамову удавалось сказать правду, которая поднимала героев, то в “Доме” он говорит правду, которая убивает их.

Затеянный эксперимент с переселением героев трилогии на два десятилетия вперёд удался, но итог его оказался печальным. В новом мире поднятой целины Нечерноземья не уживались ни духовность, ни красота прежней жизни...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В мире Фёдора Абрамова. Информационно-издательское агентство “ЛИК”, СПб, 2005. С. 212-213.

² Исключение тут составляет, пожалуй, Даниил Александрович Гранин, опубликовавший тогда пасквиль на Г. В. Романова “Наш дорогой Роман Авдеевич”.

³ Вильям Фёдорович Козлов, популярный прозаик, детский писатель, автор десятков книг.

⁴ Иван Иванович Виноградов, прозаик, участник Великой Отечественной войны.

⁵ Лев Мордкович Володарский, с 1967 года — 1-й заместитель начальника ЦСУ СССР, с 1975 года — начальник ЦСУ СССР.

⁶ Деревня Зихново Боровичского уезда Петроградской губернии (ныне Боровичский район Новгородской области).

⁷ Л. Крутикова-Абрамова. Дом в Верколе. Документальная повесть. Л., Советский писатель, ЛО, 1988. С. 19-20.

⁸ “В “Комсомолке” напечатана подборка заявлений добровольцев: “1976 год. Продолжим подвиг целины”, — записал Фёдор Абрамов в дневнике, работая над “Домом”. — Комсомольцы разных городов изъявляют своё согласие поехать на работу на русскую периферию, на так называемое Нечерноземье. И это ныне называется подвигом.

1000 лет русские люди жили себе да жили на необъятной русской равнине, а теперь это целина, и газеты как подвиг расценивают желание тех, кто согласен потрудиться на русской ниве. До чего же мы дожили — Россию за 60 лет превратили в целину, в пустошь!”

⁹ Фёдор Абрамов. Собрание сочинений. Т. 6. С. 379.

¹⁰ Глеб Матвеевич Яковлев, управляющий Веркольским отделением совхоза.

¹¹ Фёдор Абрамов. Собрание сочинений. М., Художественная литература, 1990. Т. 2. С. 356.

¹² Фёдор Абрамов. Дневник. Запись за 9-10 апреля 1974 года.

¹³ Гита Яковлевна Лихачёва, главврач из поликлиники Литературного фонда.

¹⁴ Больница, к которой приписали Ф. А. Абрамова, когда он стал кандидатом в члены горкома КПСС.

¹⁵ Игорь Золотусский. Фёдор Абрамов. М., Советская Россия, 1986. С. 79-80.

¹⁶ Фёдор Абрамов. Указ. собр. соч. Т. 2. С. 411.

¹⁷ Рассказ “Старухи” написан в 1969 году.

¹⁸ Дневник. Запись от 2 декабря 1974 года.